

Цепочка

Солнечный луч весело ворвался в спальню, отразился в перламутровой поверхности шестистворчатого шкафа во всю стену и коснулся лица спящей женщины. Она открыла глаза и улыбнулась. Точно так же двадцать шесть лет назад солнечный луч разбудил её в комнате-клетушке университетского общежития.

В то утро, в отличие от этого, она никуда не спешила. В пять часов начнётся церемония вручения дипломов. Потом банкет. А потом – вся жизнь. Завтра на несколько дней она поедет к маме и вернётся в Варшаву, чтобы приступить к работе врача в университетской клинике педиатрии. Вот только с жильём ещё нет ясности. Но не было сомнений в том, что всё устроится.

Вчера Адам пригласил её в кино. Потом проводил до общежития. Они стояли у входа в красивое здание, отличный образец барокко. Фасад восстановленного здания не отличался от того, который был до взрыва бомбы. Немецкой? Советской? Кто знает? Сейчас фасад был точно таким, как до первого сентября 1939 года. Но внутри вместо просторных уютных квартир на всех трёх этажах были комнатки-клетушки по обе стороны длинного коридора с туалетом и двумя душевыми кабинами в торце.

Адам в сотый раз предлагал Кристине жениться. Завтра они получают дипломы. Нет никаких препятствий для создания нормальной счастливой семьи. Кристина деликатно объясняла ему, что хотя бы в течение одного года, ну, хотя бы только одного года она обязана специализироваться по педиатрии. А специализация, которая по интенсивности даже превзойдёт студенческие нагрузки, не совместима с семейной жизнью. К его огорчению она уже привыкла. Компенсировала это разрешением при расставании поцеловать её в щеку.

В комнате она подумала об их отношениях. В чувствах Адама Кристина не сомневалась ни минуты. Он любил её с первого курса. Да и ей Адам нравился. Видный, интеллигентный, горожанин, образованней её. Но, по существу, сельская девочка, воспитанная строгой католичкой, понимала, что никакой близости не может быть до тех пор, пока не выйдет из костёла с единственным до самой смерти мужчиной. Кто знает? Может быть, Адам согласится подождать ещё год?

День, который начался с того, что солнечный луч разбудил её в комнатке общежития, мог стать одним из самых счастливых в жизни. Вручение дипломов было таким торжественным, таким праздничным, что пришлось сдерживать предательски подступающие слёзы. Её назвали в числе самых лучших студентов с первого курса до последнего экзамена. Не это её растрогало. Она привыкла быть лучшей ученицей в школе. Там, правда, это почему-то оставляло её одинокой, без подруг. В школе она вообще чувствовала себя неприкасаемой. В старших классах поняла значение косых взглядов одноклассников по поводу её безотцовства. А в университете Кристина с первого курса осознавала себя лидером, в центре внимания парней, не обжигаемая ревностью девушек. Во время банкета к ней, разрываемой кавалерами, приглашавшими на танцы, подошёл старенький профессор, заведующий кафедрой педиатрии, и сказал, что согласован вопрос о её работе в руководимой им клинике. Адам, как обычно, проводил до общежития. Снова предложение. Снова те же возражения. Снова то же прощание с разрешённым поцелуем в щёку.

А дальше начался ужас. Он был ещё невыносимей потому, что начался не на фоне будней, а после такого неповторимо, такого радостного дня.

На прикроватной тумбочке ждала телеграмма: „Умерла мама приезжай”. Мама... Единственное родное существо. Никого, кроме мамы, у неё не было. Сколько помнит себя, только она и мама. Красивая мама, несмотря на то, что лицо её обезображено оспой, такой редкой в Польше. Мама, с которой она прожила на крошечном хуторке у опушки леса всего в нескольких километрах от Варшавы всю жизнь от рождения до поступления в университет. Жалкий домик.

Маленький огород, Коза и несколько кур. Когда Кристина пошла в школу, мама начала работать санитаркой в ближайшей больнице. В ближайшей! Девять километров туда и девять километров обратно после суточного дежурства. В слякоть и в снег, в жару и в стужу. Мама. Она никогда ни на что не жаловалась. Никогда не болела. И вдруг: „Умерла мама приезжай”. Понятно, что телеграмму послала мамина подруга, Зося, живущая почти в таком же хуторке метрах в трёхстах от них. Что же случилось? Ещё неделю назад письмо от мамы. И никаких жалоб. Никакой тревоги.

Кристина подсчитала деньги. Хватит ли на такси? Она вышла из общежития в июньскую ночь и меньше чем через час оказалась в пустом доме. Утром у Зоси узнала, что мама накануне умерла в больнице от рака поджелудочной железы. Узнала у Зоси, что мама почти в течение месяца страдала от невыносимых болей, но не хотела тревожить дочку, не хотела, чтобы дочка ради неё отвлеклась от таких важных государственных экзаменов.

После незаметных похорон, – она, Зося, несколько сотрудников больницы, незнакомая супружеская пара из ближайшего села, – после скромнейших поминок Зося осталась с ней, и долго колеблясь и не решаясь, в конце концов, спросила:

– Крыстя, Ванда тебе ничего не говорила о твоём рождении?

– Нет. Ты имеешь в виду об отце?

– Ну, об отце ты, наверно, знаешь, что Ванду изнасиловал не то немецкий солдат, не то кто-то из Армии Крайовой. Так знай. Никто Ванду не насиловал. Не было у неё никогда никакого мужчины. – Зося умолкла, задумалась. – Ты знаешь, где у Ванды хранятся документы и там всякое? Посмотри.

Кристина, до которой медленно доходил смысл сказанного, подняла тощий матрас вандыной постели. Небольшой пакет в плотной коричневой бумаге. Маленькая картонная коробочка. В таких обычно лекарственные таблетки. Пакет этот Кристина видела. Знала о его содержимом. Коробочку увидела впервые. Она положила её на стол. Открыла. Небольшая изящная тонкая золотая цепочка с удивительно красивым маленьким кулоном в виде раскрытой кисти руки. На ней две возможно какие-то буквы непонятного алфавита, а между ними не то чуть удлинённая точка, не то запятая. Иероглифы эти – микроскопические алмазы, впрессованные в „ладонь”. Зося взяла цепочку и сказала:

– Вот эта цепочка была на тебе, когда Ванда на рассвете того майского дня нашла тебя.

Кристина, ещё не пришедшая в себя после похорон, почувствовала, что теряет сознание. Зося обняла её голову и приложила ко рту чашку с холодной водой. Села рядом с Кристиной и подвинула к ней коробочку с цепочкой. Долгое молчание воцарилось в убогом жилище.

– Ну? – Спросила Кристина.

– Что ну? Ночью была стрельба рядом с нами. К отдалённой стрельбе в Варшаве в течение почти месяца мы уже привыкли. А тут у нас под носом. Утром было всё тихо. Я пришла к Ванде в тот момент, когда она купала тебя. Каким же красивым младенцем ты была! Ангелочек. Месяца полтора-два. И на шее твоей была эта самая цепочка. А кулон доставал чуть ли не до пупа. С детства у нас с Вандой не было тайн. Ванда показала мне каракулевую шубу, в которой она тебя нашла почти у самого дома. Шубе не было бы цены, если бы она не была вся в грязи. Боже мой! Грязи на ней было больше, чем шубы. Ванда потом её постепенно отстирала. Шубе действительно не было цены. Продать её не без труда удалось только через два года, уже после войны. А ещё в кармане шубы было несколько дорогих колец. Одно из них и мне спасло жизнь от голода чуть ли не перед самым приходом советов. Ну, и Ванде с тобой... Да. Днём стало известно, что из гетто по канализации выбралось несколько жидов. Вроде бы их проводили до Кабацкого леса. Ну, тут их застукали не то немцы, не то наши, не то украинцы из СС. Уже в лесу за

моим домом нашли убитую жидовку. Говорили, очень красивую. Возможно, это именно она подкинула тебя около вандыной хаты.

Солнце уже залило всю спальню. Зазвонил будильник. Она завела его в половине третьего, когда телефон разбудил мужа. Второго профессора, заместителя заведующего отделением срочно вызвали в больницу. Дежурная бригада хирургов беспомощно застряла посреди сложной операции. Муж выехал. По привычке, зная, что долго не уснёт, чтобы не опоздать на работу, завела будильник. Действительно, уснула, когда начало светать.

Сейчас, стоя под почти холодным душем, она вспоминала своё возвращение в Варшаву, любимую работу в клинике, поиски неизвестно чего неизвестно где. У неё не было сомнения в том, что убитая красивая жидовка, которую нашли в лесу, её биологическая мама. Жидовка... Следовательно, и она жидовка. Что это значит? Кто такие жидаы? Что значит гетто? Где оно? В десятках путеводителей по Варшаве, в которых описывались даже какие-то малозначащие, за уши притянутые дома, о гетто не было ни слова.

Она искала жидаов. Говорили, что их почти нет в Варшаве. Говорили, что считанные польские жидаы покидают Польшу и уезжают в Израиль. Говорили, что в Варшаве функционирует синагога. Не без труда она нашла её. Несколько раз приходила, но почему-то всегда натыкалась на закрытую дверь. Наконец ей повезло. Дверь была открыта. В просторном сумраке она нашла двух старых жидаов. Показала им цепочку. Да, это еврейские буквы. „Аин“, „Йод“ и „хетт“. Но у стариков нет ни малейшего представления, что они значат. Кристина рассказала им о себе. Они долго думали, переговаривались между собой. Затем один из них сказал:

– Мы думаем, что пани следовало бы обратиться к Любавичскому реббе. Он просто пророк. К тому же, он очень образованный человек. Возможно, он ухватится за конец цепочки.

Предложение Кристине показалось заманчивым. Но, узнав, что этот самый реббе не житель Варшавы, ни даже Польши, она постаралась забыть о совете.

К этому времени, как ей показалось, у неё уже окончательно определилось отношение к Адаму. Через три дня после получения диплома, не воспользовавшись отпуском, он уехал в Щецин, где ему нашлась должность хирурга. Письма он присылал чуть ли не ежедневно. Следует отдать ему должное, письма были интересными и содержательными. Кристина не представляла себе, что он обладает таким эпистолярным талантом. Следует ли говорить о том, что каждая страница светилась любовью. Кристина, отвечавшая нерегулярно, уже собиралась описать своё новое состояние, чтобы не было между ними недомолвок и неопределённости. Но, прочитав трилогию Фейхтвангера, она написала ему о впечатлении, оставленном этими книгами, о том, с каким пиететом сейчас относится к истории евреев, этого древнего, необычного народа. Ответ Адама её не просто огорчил. Ещё до смерти мамы, ещё не имея представления о том, что узнала потом, всегда испытывала явное отвращение к любому проявлению ксенофобии. А тут письмо отъявленного антисемита, утверждавшего, что еврей Фейхтвангер не мог объективно и честно написать о своём чудовищно подлом народе, который многие народы не напрасно истребляли в течение многих веков. Безответные письма Адама приходи ещё примерно два месяца. Сперва, читая эти письма, она испытывала некоторую вину, некоторое огорчение, вызванное потерей. Потом задала себе вопрос: любила ли она Адама? Собственно говоря, что оно такое любовь? Какой у неё вкус, какой запах, какой цвет? С чем её сравнить, если у неё нет точки отсчёта?

В конце ноября произошло чудо. В медицинской школе Гарвардского университета на конференции по теме, которой занималась кафедра педиатрии Варшавского университета, профессор должен был прочитать свой доклад. Но старик опасался полёта в Америку. Один из доцентов болел. Второй торопился окончить диссертацию, чтобы, не дай Б-г, не упустить возможность занять место профессора. К талантливой Кристине, к начинающему врачу, с таким пониманием вникшей в тему, старик испытывал отцовские чувства. Поэтому именно ей он предложил в Гарварде прочитать его доклад. Кристина восприняла это как знак свыше.

В Бостон она летела через Нью-Йорк. На обратном пути, остановившись в Нью-Йорке, приехала в Бруклин, и, отстояв в очереди несколько часов, попала к Любавичскому ребе.

В самолёте, возвращаясь в Варшаву, она не переставала удивляться состоянию во время этого визита, удивительной душевной лёгкости, желанию раскрыться до основания, терпению этого старого мудрого человека, рассматривавшего цепочку. Его польский язык был совершенным – богатым и красивым. Но не это главное. Казалось, речь струится не изо рта между усами и бородой, а из глаз, добрых, всепроникающих. Что это было, гипноз? Нет, нет, определённо не гипноз! И всё-таки что-то необъяснимое, трансцендентальное. Он рассказал, что три буквы – это аббревиатура фразы: „Ам Исраэль хай”, „Народ Израиля жив”. Ей не хотелось уходить. Но он деликатно намекнул на очередь, которую и она отстояла, подарил ей доллар и сказал: „Нет ни малейшего сомнения в том, что вы еврейка. В этом определении нет ничего мистического. Но мне очевидно и то, что ваше место в Израиле. При первой же возможности уезжайте туда”.

Вечером в гостиницу неожиданно позвонил представитель еврейского агентства. Долго говорил с ней по-польски. Спросил адрес в Варшаве. Пообещал, что там с ней свяжется их представитель.

События покатались с невероятной быстротой. Кристина узнала, что жалкие остатки польских евреев, гонимые антисемитизмом, покидают страну. А летом 1968 года и она уже была в Израиле.

Симпатичная квартирка в центре абсорбции в Иерусалиме. Курсы иврита. Начало работы в больнице, чтобы подтвердить свою врачебную профессию и войти в курс израильской медицины. Не обошлось без трудностей. И бюрократических. И материальных. Но обошлось. Уже не Кристина, а Лея желанная гостья на вечеринках у израильтян. А главное – тот незабываемый вечер, который определить можно только одним словом – чудо. Вот он доллар Любавичского ребе!

Милая коллега-сабра, ставшая доброй проводницей в её новой жизни, пригласила Лею на ужин. За столом собралось человек пятнадцать. Напротив оказался мужчина лет тридцати, или чуть меньше. Что это было? Лея не могла объяснить. Просто оказалось, что любовь не абстрактное понятие. Пусть нет у неё ни вкуса, ни запаха, ни цвета. Оказывается, почувствовать её можно мгновенно. Лея понятия не имела об этом человеке, но впервые в жизни ощутила, что это именно тот мужчина, за которым она, ни о чём не размышляя, ничему не сопротивляясь, может пойти на край света. Несколько секунд, или минут они смотрели друг на друга. Он встал и, слегка прихрамывая, подошёл к её соседу, улыбаясь, поднял его и сел рядом с ней. Представился: Гиора, студент второго курса медицинского факультета, инвалид Армии Обороны Израиля, бывший военный лётчик. На своём бедном иврите она ответила, что около полугода назад репатриировалась из Польши и работает врачом. Ни он, ни она не спросили друг друга о семейном положении. Он встал, взял её руку. Она немедленно поднялась. Они ушли, даже не попрощавшись с хозяйкой. У подъезда он усадил её в автомобиль и повёз к себе.

Она отлично помнит его квартиру в новом районе Иерусалима, её первое постоянное жилище в новой стране. Свет, войдя, он не зажгёт. Большой салон скудно освещался уличными фонарями. На полголовы выше Леи, он нежно обнимал и целовал её. Нет, не в щёчку. Она немело, но страстно впиалась в его губы. Она не представляла себе, что это может доставить такую радость, такое удовольствие. Он ещё не знал, что она девственница. Но каким-то необъяснимым образом понимал, что должен относиться к этой женщине, к этому чуду, как ювелир относится к невероятно драгоценному камню. А дальше его удивлению не было предела. Ей двадцать пять лет! Красавица! Такая страстная! И девственница! Непонятно. А дальше это был фантастический сплав нежности и просто неистовой страсти. Кажется, в течение ночи они не уснули ни разу. В какой-то момент совершенно обессиленная, выжатая, как лимон, она лежала, положив голову на его широкую волосатую грудь, и подумала: как мудр Любавичский ребе, только для этого ни с чем не сравнимого удовольствия, для этой неопишуемой радости она

должна была приехать в Израиль. А потом весь день субботы не отличался от ночи. А потом была ночь на воскресенье, и утро, когда следовало с небес спуститься на землю и пойти на работу. Нет, этот спуск был невозможен.

Гиора позвонил хозяйке дома, в котором увидел Лею, дорогую Лею, драгоценную Лею, и сказал, что Лея слегка нездорова и не может поехать в больницу. Попечительница-коллега Леи рассмеялась: „Всё в порядке. Наслаждайтесь друг другом”.

И они наслаждались. Лея не помнит, что они ели в течение двух дней, и ели ли вообще. И нужно ли было есть и терять на это драгоценное время.

Свадьбу сыграли ровно через месяц. Это было нечто грандиозное. Казалось, на свадьбе присутствовала вся военная авиация Израиля, и вся больница, и весь медицинский факультет Иерусалимского университета, и половина университета Бар-Илана, в котором отец Гиоры, профессор в чёрной кипе, преподавал биологию. Кстати, Гиора тоже носил кипу, но вязанную. Надо ли упоминать, что Лея стала хозяйкой кошерного еврейского дома? Ровно через год родился сын. Сейчас Авраам лётчик, капитан Армии Обороны Израиля. А ещё через три года, как раз в тот день, когда Гиора получил диплом врача, родилась Рахель. Господи! Какой это был красивый младенец! Авраам был обычным новорожденным, нормальным, а такого красивого младенца педиатр ещё не видела. Лея подумала, не так ли выглядела я, когда меня нашла мама? Не это ли имела в виду Зося, рассказывая о том, как мама купала её? В тот же день она надела на девочку ту самую цепочку. Два года Рахель отслужила в армии. А сегодня у студентки первого курса медицинского факультета Иерусалимского университета очередной экзамен.

Это был обычный рабочий день. Больница уже давно размещалась в новом огромном здании. Лея осматривала очередного ребёнка, когда в палату ворвалась сестра и сказала, что только что террорист-самоубийца взорвал автобус. Много убитых. Кареты скорой помощи доставляют в больницу раненых. А через несколько минут её вызвали в приёмный покой. У входа творилось нечто невероятное. Ещё привозили раненых. Начали появляться родственники. Обычная картина дня террора, к ужасу которой нельзя привыкнуть.

У входа Лея наткнулась на старика в чёрной шляпе и в чёрной одежде хасида. В такую жару! К этому она уже привыкла. Старик преградил Лее дорогу:

– Доктор, как моя внученька, моя родная внученька, как она?

– Сейчас посмотрю. – Раздвинулись двери, и она скрылась в приёмном покое. Появилась она минут через десять. На ней не было лица. Старик понял это по-своему и тоже чуть не потерял сознание.

– Жива?

Лея, на лице которой не было кровинки, выдавила из себя:

– Жива, жива. Ничего опасного. Даже не контузия, а травматический шок. Думаю, вечером сможете забрать её домой.

– Доктор, так в чём же дело? Что с вами?

– Цепочка...

– Что цепочка?

– Откуда у неё такая цепочка?

– Как откуда? Я сделал две такие цепочки. Абсолютно одинаковые. Хоть мне ещё не было тридцати лет, я уже был в Варшаве знаменитым ювелиром. И не только в Варшаве. Может быть, потому, что я был таким ювелиром и немцы нуждались во мне, мы и просуществовали, когда в гетто проводились сплошные акции, просуществовали почти три с половиной года. Мы с моей дорогой Двойрой любили друг друга ещё будучи малыши. А поженились мы уже в гетто. Доктор, вам плохо? Давайте сядем. Я вам принесу воды.

– Спасибо. Не нужно воды. Сядем.

– В декабре 1941 года у нас родилась Сареле. И я сделал для неё цепочку, которую вы увидели. А первого марта 1943 года у нас родилась Блюмеле. И я сделал ещё одну точно такую цепочку. А потом началось восстание. Я не знаю, что вы знаете об этом восстании. Но сейчас о нём говорят очень много неправды. Основная военная сила евреев была у нас, у ревизионистов. Именно мы наносили нацистам самые большие потери. А коммунисты были против социалистов, а бундовцы были против коммунистов, а все они были против ортодоксов. И вообще все были против всех, вместо того, чтобы всем вместе быть против немцев. Шестнадцатого мая несколько евреев по канализации выбирались из гетто. У меня на руках была Сареле, а у Двойры – Блюмеле. Вы представляете себе, май месяц, канализация, а на Двойреле её дорогая каракулевая шуба. Она ни за что не хотела её оставить. В кармане шубы были некоторые драгоценности. Но большинство было у меня вместе с инструментами. Эта канализация! Что вам говорить? Только это, только поход в дерьме по самый пояс, а иногда и выше, когда нечем дышать, может искупить все самые страшные грехи, в течение жизни совершённые самым плохим человеком. Как мы дошли до выхода? Это просто невероятно. А Двойреле в своей шубе.

Лея заплакала. Старик посмотрел на неё:

– Доктор, может быть хватит слушать глупого старика?

– Продолжай, отец, продолжай.

Старик с непониманием посмотрел на врача. Может быть, расчувствовавшись, она так назвала старого человека? Бывает.

– На выходе нас ждали поляки. Они должны были проводить нас до Кабацкого леса. На опушке нас обстреляли. Когда мы уже были в лесу..., – старик заплакал. – Ни Двойреле, ни Блюмеле. Потом поляки, когда я служил у них в Армии Крайовой, сказали, что Двойреле убили. А о Блюмеле ничего не сказали. Я был нужен полякам. Ведь я не только хороший ювелир, но ещё отличный гравер. Поэтому они берегли такого еврея. Как раньше немцы в гетто. Я приехал с Сареле в Палестину в 1946 году. Как мы страдали! Хуже, чем гетто. Англичане нас выбросили на Кипр в концентрационный лагерь. Когда образовалось государство Израиль, мы приехали в Иерусалаим. Я так и остался один. Я очень любил Двойреле. Для меня не могло быть другой жены, хотя я религиозный еврей и должен был выполнить завет, должен был жениться. Сареле выросла, вышла замуж за очень хорошего человека. Сейчас он полковник в запасе. Бригадного генерала ему не дали. Может быть потому, что он носит чёрную кипу. Не знаю. У них четверо замечательных сыновей, моих дорогих внуков. А они так мечтали о дочке. И Господь услышал их просьбу. В сорок один год она родила мне внучку, которую вы видели. А о Блюмеле так ничего и не известно.

Лея обняла совершенно обалдевшего старика. Целовала его, натываясь на седую бороду. Плакала.

– Отец, дорогой мой отец, я расскажу тебе о Блюмеле. Я – Блюмеле. Только до смерти моей дорогой польской мамы я не знала, что я Блюмеле. Я знала, что я Кристина. А когда репатрировалась в Израиль, стала Леей. Сегодня, когда твоя внучка, моя дочка Рахель придёт из университета, ты увидишь вторую цепочку.

Ион ДЕГЕН.